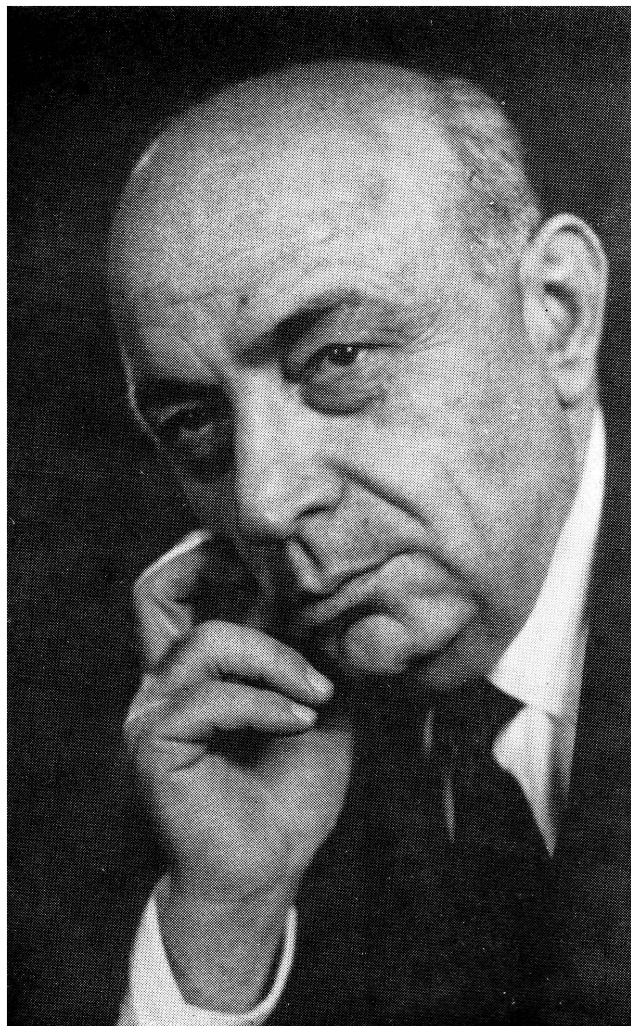


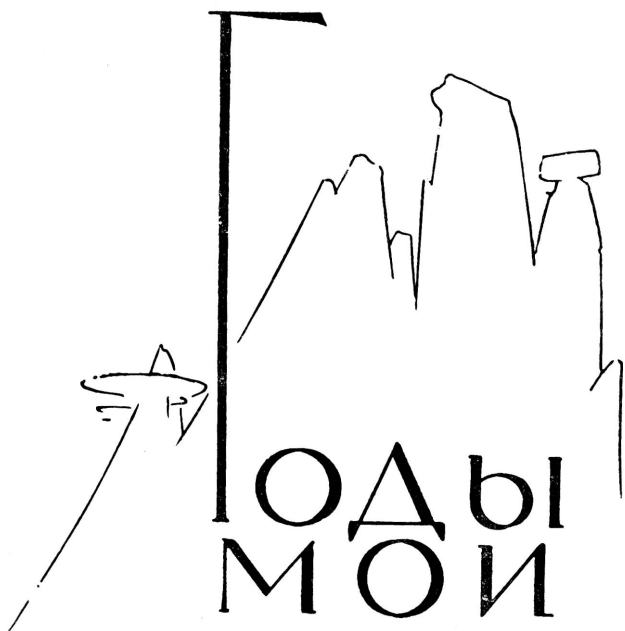
Тоды
мой

АМО
АГЯН





Ано Сагян



Издательство "Айастан"
Ереван 1971

Ар 2
С—13

Составитель Л. М. МКРТЧЯН

Предисловие А. М. МАРЧЕНКО

7—4—3

ВСЕ ЧЕЛОВЕК...

Амо Сагиан—один из популярнейших, может быть, самый популярный поэт сегодняшней Армении, хотя сам он не только не ищет, но даже боится этой популярности. В его поэзии нет ничего рассчитанного на дешевый и легкий успех: при всей своей интенсивной живописности она совсем не декоративна, при всем своем простодушии—мудра, при всей своей простоте—сложна, а легкость исполнения не исключает изощренности глаза, чувства, техники.

И это, как мне кажется, в значительной мере объясняется тем, что Сагиан—поэт глубоко национальный, хотя, если брать чисто внешнюю сторону, он гораздо меньше, чем его коллеги, сознает свое «армянство». Во всяком случае он его не подчеркивает. Более того, поначалу Сагиан даже несколько удивляет отсутствием видимого интереса к историческому прошлому своей родины. Потом понимаешь, что все гораздо сложнее: Сагиан чувствует глубоко и сильно и эту—«библейскую» Армению. Для того, чтобы написать хотя бы такие стихи:

Смешалось все:
Колонны и хораны,
Следы короны
И рубцы от раны.

Все то, что щедро было мне дано,
И жизнь, растроченная мной без толку,
Как безъязыкий колокол умолкла.
Я храм былой, где служба шла недолго,
Где нет молящихся давным-давно,—

надо не только глазом художника оценить красоту величавых останков отошедшей жизни, но и оставить на этих рунках и—«ключья своих снов», и «горьких слез своих» (пер. Н. Гребнева). И все-таки в отношении Амо Сагияна к «дрезностям» есть нечто, заставляющее вспомнить полемический выпад Гранта Матевосяна (в повести «Мы и наши горы»): «Антарамеч—село старое. Церковь в нем стоит девятьсоглетняя... Пусть ученые превозносят ее как хотят—это их дело. Я же в нашей церкви вижу лишь свидетельство того, что на маленьком этом участке планеты дружба человека с землей насчитывает долгие и долгие годы». И дело тут, по всей вероятности, не в личных вкусах и пристрастиях как Гранта Матевосяна, так и Амо Сагияна, а в том, что, не будучи ни в коей мере писателями, что называется, «деревенскими», оба они все время чувствуют за своей спиной «дрезную республику» пастухов и земледельцев. А если еще точнее, то дело в их врожденной народности, в стихийной, может быть, даже бессознательной близости к народному мироощущению, для которого, как очень точно написал Лев Арутюнов, «древняя пустынная Армения» никогда не была абстрактно-исторической. «Прошлое (как историческое, так и доисторическое) жило в ее природе и людях как настоящее». Здесь словно бы и не было деления на историческое и доисторическое: не только храм, выстроенный человеком, но и пещера, сложенная природой,—были здесь историей.

Таковыми памятниками древности, причем памятниками историческими, кажутся мне и столь часто встречающиеся в

поэзии Сагияна языческие пещеры («И потом покрылся пещерный лик, к пасти зияющей тучу влача»), и его шлемоносные, гомеровские горы, и его многоликие скалы.

Прошлое, живучее, не умирающее в настоящем, Амо Сагиян прекрасно чувствует не только в природе Армении, но и в ее людях. Его Хачипап—при всей сверхконкретности этого образа—как бы олицетворение самой глубокой языческой древности:

**Умел разговаривать дед с землей,
Лесом, облаком и травой.
С каждой птахой
И зьерем всяким.
Тек с ручьями.
С облаком плакал.**

(Пер. Аллы Марченко)

Это умение—течь с ручьями, с облаком плакать, этот неистребимый пантеизм унаследовал от деда Хачипапа и его внук Амо Сагиян. Казалось бы, не все ли равно, как сказать: «вглядываясь в камень, заваливший вход в пещеру, я вижу, что он похож на деда Хачипапа», или «вглядываясь в лицо камня, завалившего вход в пещеру, я узнаю в нем умершего деда Хачипапа». Для Амо Сагияна—не все равно, ибо он хочет увидеть не просто внешнее сходство лица камня с лицом человека, а внутреннее родство всего со всем—человека, камня, дерева.

Свое родство со всем сущим человек может на какое-то время и перестать ощущать, погруженный в себя и занятый собой, но тогда одиноким становится не только он, но и природа, и, тоскуя по человеку, ищет влюбленное и нежное, доброе и чуткое ухо человеческое:

Весна в лихорадке цветенья,
Вся в клёкоте, пене и пухе,
В ликующем исступленьи
Влюбленное ищет ухо.

На каменной твердой ладони
Клок неба—свечение духа,
Лучами исходит и стонет—
Нежнейшее ищет ухо.

Здесь птичьи турниры и схватки,
Здесь брачная заваруха,
Но росный «шах-квач» куропатки
Чуткое ищет ухо.

А там, среди прочих звучаний,
Еще не испытанных слухом,
Влюбленной косули мычанье
Доброе ищет ухо.

(Пер. Аллы Марченко)

Поэтому так органична для поэзии Сагияна и такая коллизия: человек как бы исчезает, растворяется в природе, превращаясь в звезду, гору, реку, а река, наоборот, приняв обличье человеческого, «бродит, тоскуя, в бденье ночном, горной тропею, Млечным Путем».

Разумеется, дело не в самом «психологическом параллелизме»: человек—природа, и даже не в той остроте, с какой в поэзии Амо Сагияна переживается утрата современным человеком узловой завязи с миром природы. Удивительно прежде всего умение Сагияна с помощью вроде бы тради-

ционного и даже архаического «приема» выразить настроения и чувства далеко не традиционные и не архаические. Вообще, как мне кажется, особенность поэтики Сагияна не в необычности его образов как таковых, а в необычности связей, сцеплений между ними. Он настолько же свеж, непреднамерен и внезапен в своих метафорических поворотах, насколько традиционен и даже консервативен в выборе материала, идущего на «выделку» метафор.

Чисто сагияновской особенностью кажется мне и артистизм, с каким он даже в стихах сугубо «пейзажных», не нарушая плавного, естественного движения лирического образа, заставляет его выводить на «орбиту» сложную, философски «напряженную» мысль. Но мысль эта никогда не рвет, что называется, «полотна»: пейзаж, за очень редким исключением, так и остается пейзажем, не превращаясь в аллегорическую условность даже тогда, когда условность эта задана, как например, в стихотворении «Утро, играя, через ердык...». Казалось бы, что может быть условнее, чем попытка уложить жизнь человека в образ столь же эффективный, сколь и затасканный—дороги в горы (подъем, вершина, спуск в ущелье и т. д.). А между тем стихотворение Сагияна звучит как открытие, ослепляя новизной и первичностью. И это объясняется, на мой взгляд, не только силой лирического заряда, но и тем, что условная, символическая дорога из теплого материнского дома по обгорелой до черноты тропке, туда, к вершине, где «снег глянцевитый и рядом цветы в изобилии дикорастущем», и обратно—к «страшному» ущелью,—от самого начала до самого конца—вещественна, конкретна, до галлюцинации реальна. Более того, ее главное значение—дорога жизни—остается как бы в тени. И взбираясь вверх по обожженному зноем солнечному склону, и опускаясь вниз по теновому, мы как бы не подозреваем о

том, какой многозначительный путь проделан нами. По-настоящему смысл пройденного открывает только последняя строфа:

**Пригоршня праха и горсть земли. И наконец-то
покая горстка.
Запах ладана, запах свечи, запах прощанья
и запах погоста.**

Сегодня, когда человечество так катастрофически быстро утрачивает связь с миром природы, эта архаическая особенность мироощущения может показаться кое-кому напыщенно игрой, наполовину неким хитрым ходом, с помощью которого Амо Сагиян пытается избежать «черной работы» по поэтическому обслуживанию злобы дня. То, что со стороны его столь длительные «отлучки» в поэтический Зангезур могут быть истолкованы как своеобразное бегство от современности, понимает и сам Сагиян.

**Говариши по играм и забавам
Ведут меня на дальний берег свой.
Как Иисус, стою в тряпье кровавом,
Исхлестанный крапивой и лозой.**

**Я вам не лгал, я был у птиц в неволе,
Я никогда не забывал друзей...
Оправдываюсь и кричу от боли
И просыпаюсь в комнате своей.**

(Пер. А. Тарковского)

Для того, чтобы «оправдать» Сагияна, достаточно указать на одно его «Возвращение»—этот полный драматизма «плач» по деревенской уходящей Армении и по блудным сыновьям ее, и по дедовским очагам, от которых «пахнет развалинами». Для того, чтобы написать эту поэму, надо было

чувствовать себя не только счастливым наследником ставшего поэтической легендой деда Хачипапа, но и неправедным сыном дядюшки Саака—покинувшим, забывшим, предавшим «свой наследный, семейный очаг» и все-таки связанным с ним вечными, нерасторжимыми узами. У сагианозской родины как бы два лика: это и полусказочная птичья страна, где перепела влетают в радужные арки, «в клювах радуги зажав», и реальная армянская деревня со всеми ее сказочными радостями и бедами... Впрочем, и сам Хачипап— не только «живая древность», но и настоящий армянский крестьянин:

**На все руки—
И швец, и жнец,
Первый каменщик и кузнец,
Садовник и пахарь,
Плотник и знахарь,—
Все на свете умел мой дед.**

(Пер. Аллы Марченко)

Для того, чтобы написать эти сочные, густые, пропахшие «соломой и землей» стихи, надо, конечно, стоять обеими ногами на земле. И тем не менее при всей своей зоркости, при всем своем живописном реализме, Сагиан не бытовик, ему тесно и душно в самом колоритном, самом армянском быту.

К счастью, для того чтобы вырваться из «неволи быта», Сагиану не нужно специальной «взлетной» дорожки—достаточно тронуть слово «посредством образа», и это не только сдвигает самые обыденные вещи в сторону «вымысла, яркости и красоты», но и прорастивает мысль в глубину, обнаруживая невидимые обыденным глазом связи и соотношения. В умении преображать, обращая в факт высокого искусства

самые простые и будничные явления, видится мне ключ к поэтике Амо Сагияна. Взять хотя бы одно из самых сагиановских стихотворений— его «Вола»:

**Он первым выю впрягал в ярмо—
Кормилец, надежда голодной оравы.
На лбу полнолуние, как клеймо.
Вол был волом—работящ, исправен.**

Пока это только бытовая картинка, вол всего лишь вол, такой, каким его видит большинство людей. Но Сагиян взрывает статичность банального представления, обрушивая на нас такое количество его «ипостасей» (вол был судьбой, страстью, совестью плуга, ракетой, выводящей плуг на орбиту, скирдой доброты и т. д.), что нам ничего не остается, как удивиться умению поэта «видеть суть»—и тому, как многомерна, и многозначна, и многозначительна эта суть. Кажется, еще немного, и Сагиян не удержится от соблазна превратить своего вола в некий аллегорический символ, эпическую фигуру, олицетворяющую доброту и многотерпение народное.

Но Сагиян удержался, и сразу же после патетического двустипшия

**Вол был доброты бессловесной скирдой,
А харч был скуден—трава да солома,—**

вносит небольшое уточнение:

**И кроток был, и упорен, и скромн—
Что поделаешь—был собой.**

(То есть кротость и упорство вола вовсе не добродетели, а те врожденные особенности, в которых вол, так сказать, не повинен, и «излечиться» от которых—не в его власти).

Поправка, казалось бы, незначительная, а между тем она возвращает стих на сагиановскую орбиту и, меняя самую интонацию, делая ее более интимной—подготавливает концовку:

**Пахнет закатом. Темнеет, темнеет...
Тени теряют голубизну.—
Ты, плуг мой, тяжел, я как вол, потею,
Боюсь своей тени, и все же—тяну.**

(Пер. Аллы Марченко)

Это тяжелое, категорическое «я как вол, потею» кажется несколько неожиданным, может быть, даже преувеличенным для человека, умеющего чувствовать себя «пленником птиц», но потом понимаешь: суть-то как раз в том, что это «легкое», «птичье» связано, уравновешено «воловым». Вообще Амо Сагиан, никогда не изменяя самому себе, бывает очень разным—и это одна из главных трудностей при переводе его стихов. И не потому, что переводчику не хватает стилистического такта, а просто потому, что он не обладает той счастливой переменчивостью души, какой обладает сам Сагиан.

Впрочем, сам Сагиан и свою переменчивость, и свое умение быть «всяким» склонен порой рассматривать как измену себе—идеальному, как отсутствие цельности (см. стих. «Собою был и всеми сразу») и даже как признак творческой несостоятельности:

**И жизнь, растроченная мной без толку,
Как безъязыкий колокол умолкла...**

Это не поза и не приступ малодушия. Сагиан и здесь искренен. Но если правда, что человек бывает так же далек от

самого себя, как от других людей, то я бы сказала, воспользовавшись образом самого Сагияна, что в этих стихах он далек от своей «сердцевины». По-моему, гораздо ближе к себе самому Амо Сагиян в стихотворении «Годы мои», где он принимает и самого себя, и прожитые им годы—прожитые и с толком и без толку—такими, как они есть—с той мудрой терпимостью, с какой дед Хачипап относился к своей пашне, и в урожайные и в неурожайные осени:

**Откуда взялись—несродные мне, иные,
Не конные—пешие, пососные,
Спешащие годы мои?**

.

**Мои бесценные,
Мои мгновенные,
Черные, белые, зелено-красные,
Напрасные и ненапрасные
Годы мои!**

(Пер. Марии Петровых)

Однако при всей своей многоликости и многокрасочности артистичности Сагиян не терпит «лирического беспорядка»: нет ничего более чуждого ему, чем красноречивая аморфная поэтичность, не имеющая формы, не нашедшая «берегов». Не признает он и декоративных заплат—эффективных, но лишних, не предусмотренных композиционным планом, который у него всегда строг, точен, классически гармоничен. Приведу один пример:

**Уходят горы в небо друг за другом.
Расщелины уводят к преисподней.
Мрак ежится от звездного испуга.
В ущелья глянув, обмирают звезды.**

(Пер. Аллы Марченко)

Ни разу на протяжении всего стихотворения—ни горы, ни ущелья не изменят ни своих маршрутов, ни своей суги (суть горы в том, чтобы уходить к звездам, к свету, быть, так сказать, воплощением «духа высоты»; суть ущелья в том, чтобы стремиться в глубину и быть воплощением духа глубины). Они разнонаправлены, но равновелики—и это находит отражение и в композиционном решении стихотворения: 2 и 3 строфы «горные», 4 и 5—«ущельшные». И все-таки Сагиян заставит эти параллельные пересечься, соединиться в сердце человеческом. Заключительная, 6 строфа как бы сводит, завязывает в один узел эти две разнородные стихии:

**Что значу здесь я, среди этих мер,
Сверчок, нуждающийся в крыше?
Пою, а песенки не слышно
Ни на высотах, ни в глуби пещер.**

И вот исход не неожидан, он предсказан первой строфой. Ведь если бы поэт хотел показать только чужеродность духа высоты и духа глубины, ему достаточно было сказать, что горы поднимаются так высоко, что начинают испытывать «страх высоты», а мрак, гнездящийся в разъедаемых расщелинами ущельях, пугается собственной глубины. Но Сагиян иначе поворачивает образ:

**Мрак ежится от звездного испуга,
В ущелья глянув, обмирают звезды.**

В результате не только глубина становится глубже, высота—выше, а образ, балансирующий на грани банальности—свежим и острым, но еще и восстанавливается связь всего со всем: духа тяжести с духом высоты, «птичьего» с воловьим,

сути горы с сутью ущелья, света с мраком,—связь, на утверждении которой и держится поэтическая гармония Амо Сагияна.

Я не принадлежу к секте скептиков, уверяющих, что поэтов много, а стихов нет. Наоборот, я думаю, что хороших стихов больше, чем хороших поэтов. Но стихи Амо Сагияна— это не просто отличные стихи, это целая вселенная, на которую вступаешь «с чувством неизъяснимым», независимо от того, что написано в твоей «подорожной»: критик, переводчик или просто «читатель стиха».

АЛЛА МАРЧЕНКО

Р а с с в е т

Свет коснулся гор.
Пробегают дрожь по горам,
Горы приподнялись.

Грянул птичий хор.
Пробегают дрожь по ветвям,
Деревья прянули ввысь.

Вскочила на камень лань.
Камни по сторонам,
Как под плетью, прянули ввысь.

И в эту раннюю рань
Из-под скал на диво глазам
Столетия прянули ввысь.

Осень в горах

Осень втягивается в лощины
Из ущелья сквозь просвет,
Осень цвета камня и глины,
И конца ущелью нет.

Инеем исчерчены склоны,
Холод твой—как моя печаль,
Вдоль ущелья вздох приглушенный
За тобою тянется вдаль.

Просветлел твой поток гремячий.
Камень сух под стопой твоей,
Твои оседлые тучи—
Кочевье седых камней.



Темнеют горы на горах,
Ущелья в глубине ущелий.
Мне чужд заката смутный страх.
Темнеют горы на горах.
Воспел я отчий мир в стихах.
Я от камней зачат в камнях,
Мне в колыбели камни пели.
Темнеют горы на горах,
Ущелья в глубине ущелий.
Мне чужд заката смутный страх.

Синяя песня

Есть светло-синий мир воспоминаний,
Где горы в небо синее одеты,
И ноги у меня, как ноги неба,
И я стою в пустыне светло-синей
Один и одиноко...

По лбу проходят
Светила синие, а на груди
Четыре ветра бьются в синей злобе
И с ярко-синим свистом пропадают
Неуследимо в синей пустоте.
Осаживаю синим свистом трепет
Тревожно голубеющего сердца,
Но в трепете зыбучей высоты
От голубого головокруженья
Покачиваюсь...

Мирозданье снова
Переворачивается,
И снова дремлют надо мною горы,
И боги дремлют подле ног моих.



На склоне горном брезжит лунный серп,
Как сколок снега светло-синий,
А льдистый снег на каменной вершине—
Как лунный серп, идущий на ущерб.

Так сердце поздний разум набирает...
Иль помутился духом человек,
Что в образе едином совмещает
Небесный свет, наземный снег...

Т а к ж и т ь

Пушкой погаснет свет во взоре,
Но только бы слова, как сеть,
Держали мысль, и петь, и в хоре
Не онеметь, не онеметь.

Скатиться бы слезой пролитой,
Упасть бы птицею подбитой,
Но только бы в неволе быта
Душой не тлеть, душой не тлеть.

Пушкой меня согнет работа,
Годам забот не будет счета,
Но только бы в часы полета
Не тяжелеть, не тяжелеть.

И жить веками, жить веками,
Сшибаться грудь о грудь с горами,
Дышать ветрами, встретить пламя,
Гореть, и крепнуть, и сгореть.



Не дали выйти из семени,
Куда уж там—зеленеть.
Не дали для встречи времени,
Куда там—от счастья петь.

Теперь я умею каяться
И клясть несвершенный грех.
Заплатят за труд—считается,
Что я обираю всех.

Грозой греметь—запрещается,
Вздохнул бы, да людям смех.



Радуга животрепещущая,
По ветвям выгибающаяся,
На дерево переселяется
Из моей красно-зеленой мечты.



Пойду, затеряюсь в листве неживой
Лесов, обступивших осенние горы,
Забуду раздоры, укоры и ссоры,
К замшелому камню склонюсь головой.
Для птиц бесприютных я сердце открою.
И стану я ухом лесной тишины,
И, верно, услышу дыханье живое
Под грудями листьев уснувшей весны.

О р о в е л

Ушло в туман воспоминаний детство,
И луч его, как сказка, догорел,
Но принял я ваш оровел в наследство,
И сказку воскрешает оровел.

О, сколько раз для прямодушной песни
Я покидал предел забот и дел,
Но нет напева чище и чудесней,
Чем ваш, землей пропахший, оровел.

И я, в ладу с судьбою, как другие,
Во славу жизни много песен спел,
Но с чем сравнить мне звуки дорогие
И отчий дух, проникший оровел?

Вы, мудрые отцы земли армянской,
Я жизнь отдам за гордый ваш удел.
Но как воспеть мне подвиг ваш гигантский
И ваш благословенный оровел?

●

Твоими глазами, твоими глазами
Себя самого я увидел во сне,
Себя проклинал я твоими устами,
И стыд покаянный забился во мне.

И я пожалел тебя тысячекратно,
И тысячекратно тебя я простил,
И было во сне самому непонятно,
Как вытерпеть сон мой хватило мне сил.

Проснулся—и понял: руками твоими,
Руками твоими убит я давно.
Один я, а мнится, что стал я двоими...
Но этого мне объяснить не дано.

Годы мои

Годы мои,
Красные и зеленые,
Куда вы ушли?
Годы светлые, годы под черной тучею,
Леденящие, жгучие,
Бзывающие, немые,
Кривые, прямые
Годы мои!

Где ж вы, всеми скорбями заклые,
Всеми обидами,
Годы мои крылатые,
Годы, с крылами подбитыми?
Где ж вы, мои быстрогонные,
Не пешие—конные,
Любимые годы мои?

Сколько вы принесли—унесли зазорного,
Черного, черного, черного,
Годы мои!
Сколько несказанных слов унесли вы,
Сколько пристрастий—приливы их и отливы,
Годы мои!

Где ж вы? О вас ни слуху, ни духу,—
Запивающие небом каменную краюху,
Годы мои!

Откуда взялись—несродные мне, иные,
Не конные—пешие, посошные,
Спешащие годы мои?

Соберитесь вы все когда-нибудь
Вздохнуть, всплакнуть,
Почтить мой прах, вспомнить минувший путь,
Мои бесценные,
Мои мгновенные,
Черные, белые, зелено-красные,
Напрасные и ненапрасные
Годы мои!

●

Пел зеленый ветер на лугу
И зеленой песне былого,—
Песне отрочества моего—
Вторил от слова до слова.

Рдяный ветер громыхал грозой
Расстилался тенью багровой,
Рдяной песне юности моей,
Вторил от слова до слова.

Бурый ветер в глубине теснин
То стихал, то метался снова,
Песне возмужанья моего
Вторил от слова до слова.

Белый ветер подавляет вздох,
Вглядываясь в сумрак суровый,
Белой песне старости моей
Вторит от слова до слова.

После грозы

После грозы—
Станет синее небесная синева,
Станет в лугах зеленее трава
После грозы.
После грозы—
Белая лилия станет белей,
Мак разордеется в гуще полей,
Пчелы к цветам полетят веселей.
После грозы—
Кажутся выше вершины гор,
Чудится шире степной простор,
Эхо в ущельях звучит, как хор,
Роши притихнут, притихнет бор,
Перекликаются птицы живей,
Шумно летая средь влажных ветвей.
После грозы, что гремела с утра,
Солнце становится к миру добрей,
Люди друг другу сердечней желают добра.
После грозы мне понятней и мир и ты,
Нет и не будет разнящей нас черты...

Алексану Киракосяну

Мчатся бурные реки твои по-армянски,
С гор слезами сбегают ручьи по-армянски,
По-армянски твоя расцветает весна.
В рощах—говор и пенье пичуг по-армянски,
В пашню крепко врезается плуг по-армянски
По-армянски нетленны твои письма.

Глубь рассветных небес горяча по-армянски.
Столковенье согласных, звуча по-армянски,
По-армянски взрываясь, звенит, как струна.

Кузнецов твоих руки крепки по-армянски,
На полях зеленеют ростки по-армянски,
По-армянски таится в камнях тишина.

Сколько раз ты, казалось, из рук уплывала,
Но ты нашей осталась и ввысь, как бывало,
По-армянски возносится гор крутизна.

Вздых твоих скорбен и тих по-армянски,
Чтим почивших страдальцев твоих по-армянски,
По-армянски печаль твоя мне суждена.

Лишь бы все, чем живу, чем дышу, сохранилось.
И потом—что ни случилось бы, что б ни случилось—
Будут плакать ручьями снега по-армянски,
Будут весны вбегать на луга по-армянски,—
По-армянски—веки, во все времена.

Зеленый тополь Наири

Красуешься под ветерком, сверкаешь свежую листвою,
Дневной дороге тень даришь, глубокой ночью ждешь зари.
В теснинах сердца моего звонкоголосый говор твой,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Ах, как взметнувшийся костер, стоит зеленый твой огонь.
Я издали тебя молю, гори, мой трепетный, гори!
Изжаждавшиеся поля желанною прохладой тронь,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Поет мой жаворонок-сын, играючи в тени твоей.
Его получше приголубь, порадостнее одари,
Листою веселой осени, отцовской ласкою согрей,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Меча и пламени певец, хочу я лишь твоей любви,
И если в праведном бою прикажет родина: «Умри!»—
Умру, чтоб вольным быть тебе, исчезну я, а ты живи,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь Наири!

Из цикла «На берегах Воротана»

На берегах Воротана, моего Воротана,
Молоденькая одна—сторожит мой путь.
Бесточку от меня кто бы отнес желанной,
Чтоб осушила глаза и смогла бы легко вздохнуть!
Товарищ неведомый мой, сделай дело святое:
Если увидишь ее, поклонись ей, не позабудь.
В душе у нее—печаль, на пальце—кольцо золотое.
С рассвета и дотемна сторожит мой путь.

На берегах Воротана—мать моя в горе.
Глаз не спускает с окна—сторожит мой путь.
Трудные слезы в ее истомленном зоре,
Ей ни покоя, ни сна,—сторожит мой путь.
Та, что мне песнь колыбельную пела с любовью,
Та, что растила меня, жизнь забывая свою,
Та, что отточенный нож клала мне в изголовье,
Чтобы бесстрашен я был, непобедим в бою...

На берегах Воротана—отец мой седоголовый,
Тот, что правдивое сердце вложил мне в грудь,
Тот, что учил отличать доброе дело от злого,
С полною чашей вина—сторожит мой путь.
На берегах Воротана—дедовская могила.
Издали всем видна—сторожит мой путь.
Доброе небо ее голубым укрыло.
С детством моим сроднена—сторожит мой путь.

Пьете вино расставанья—горше и нет вина.
Близкие,—ждете меня, горячо, неустанно.
Скоро,—клянусь вам, клянусь,—возродится весна
На берегах Воротана, моего Воротана...



За старой садовой оградой
Ручей пробегает легко,
Дыхание нашего сада
Несет далеко, далеко.

Сверкающим, благоуханным,
Бессонно стремится вперед,
Сливается вдруг с Воротаном
И дальше бежит и поет.

С ним шепчутся клены и вязы,
Песок золотится на дне,
Таким он дошел до Араза,
Волной прикипая к волне.

Слился с шумнопенным Аразом,
Но тут еще песня не вся—
Он в море врывается разом,
Дыхание сада неся...

За старой садовой оградой
Ручей пробегает легко,
Дыхание нашего сада
Несет далеко, далеко.

Д е т с т в о

Дремучие леса, заоблачные горы,
Окрашенный лазурью отчий дом...
О жаворонок мой, о детство, слишком скоро
Из сердца взмыло ты, блеснув крылом.

Встревоженный птенец стремился не на зов ли
Борьбы морской, где с валом бьется вал.
Я вслед тебе глядел с высокой нашей кровли
И звал тебя, неутомимо звал.

Меня не слышал ты, летящий в жизнь большую,
Тебя манили дальние бои.
И вот я снова здесь, и снова здесь ищу я
Оброненные перышки твои.

Что скажет ветер мне, иль облако, иль птица,
Иль трепетное зеркало ручья?..
Они уже не те, для них ты небылица,
Тебя, мой дальний, помню только я.

Когда ж веселое дитя мое заплачет,
Ручного жаворонка упустив,
Ты, детство, вновь со мной, и день едва ли начат,—
Проверь меня,—я всей душою жив.

А ты,—дитя мое!.. Тебе, как мне когда-то,
Цветов и птиц так радостен привет.
Природа вечная меня хранила свято,
Чтоб заново явить на белый свет.

Поет ребенок мой. Как помню тот напев я,
Как властно он зовет меня опять...
Укрылись в сумерках тропинка и деревья,
Меня домой с крылечка кличет мать.

Я сердцем верен вам, дремучие дубравы,
Просторы гор, лазурью крытый дом...
Вы стали песнею, будя за словом слово,
Чтоб я сказал о самом дорогом.

Г я з б е л

И снова устремлюсь я в вышину,
Дышать снегами моего Гязбела.
Омою руки в туче и вздремну
Под облаками моего Гязбела.

Я поднимусь отвесною тропой,
Я опьянюсь небесной высотой,
Мне тень подарит белая скала,
И мерой собственного вдохновенья
Измерю я величие орла
И мощь его, и высоту паренья.

И снова в снег заруюсь, словно в мех,
И все, что было черно, станет бело.
Потом спущусь я и оплачу всех—
Тех, у кого нет своего Гязбела.



Дорога снов моих в который раз
В том синем мире детства заблудилась,
Где все таким же было, как сейчас,
Где все за эти годы изменилось.

Здесь те же склоны, реки и луга,
И лишь роса другая серебрится,
Другие волны бьются в берега,
Над склонами кружат другие птицы.

Другие ветры из-за гор летят,
Не те цветут тюльпаны, что когда-то,
Другие дети на камнях сидят,
Другие овцы блеют и ягнята.

Дорога снов моих в который раз
В том синем мире детства заблудилась,
Где все таким же было, как сейчас,
И все со мною вместе изменилось.

З а к а т в г о р а х

Поглядите-ка, что творится,
День уходит за грань высот,
Тень горы на скалу ложится,
Тень скалы к перевалу льнет.

Удлинясь по длине долины,
Тени скал, и дерев, и гор
Заплетаются в узел единый,
На ковре образуют узор.

А в узоре река струится,
Тень скалы к перевалу льнет.
Поглядите-ка, что творится,
День уходит за грань высот.



Гроза хоть и прошла,
По кручам долго
Грохочут камни, все вокруг круша.
Хоть дождь прошел, с горами тучи долгие
Едины, словно тело и душа.

Хоть утихает буря над волнами,
Еще волнуется морской простор.
Когда закат уже погасит пламя,
Еще огнем пылают склоны гор.



На ребрах гор—тропа моих скитаний...
С тех пор, когда и я был молодой,
На камне след слезы, в горах сказанье
Остались от любви моей былой.

Теперь, как облако в тумане мгlistом,
Я поднимаюсь на скалу и там,
Старик, я слезы лью по прежним, чистым
В дни молодости пролитым слезам.



К утесам этим мир наш добросерд,
Их озаряет солнце спозаранку.
Ложится небо на Воротнаберд,
Текут ручьи по Цицернакаванку.

Им первым утро дарит добрый свет,
Бесценных кладов полны их глубины.
Все есть у скал, и только смерти нет,
А значит, нет и песни лебединой.

Перепела

Вы, перепела мои,
Дали мне крыла мои,
Чтобы ввысь и я взлетал,
Чтобы мне слагать сказанья,
Сокращая расстоянья
От небес до наших скал.

Даже ночью мы взлетали,
Звезды, как зерно, клевали,
В полдень над коврами трав
Мы кружили и парили,
Землю песнями дарили,
В клювах радугу зажав.

Ввысь взмывала наша стая,
В ясных взглядах отражая
Звезды ночи, краски дня.
Если вы не перебиты,
О, птенцы Лораовита,
Как вам ныне без меня?

Кто я и что?

Кто я?—вопрос этот вечный, как свет,
Слышу и вновь от ответа бегу я.
«Кто я и что я?»—не знаю ответ.
«Кто я и что я?»—понять не могу я.

Может, я—лист, что еще не поник.
Лист, одаренный красою неверной,
Той, что стараюсь продлить хоть на миг
Я, отражаясь в росе предвечерней.

Может, я птица, что возраст забыв,
Песню любви, а не песню неверья
Хрипло поет, вспоминая мотив
И оправляя поблекшие перья.

Или—поток, оглашающий ночь,
Бьющийся в тесных гранитных твердынях,
Вдаль от себя убегаящий прочь
С пеной седой на поверхности синей.

Вдаль он торопится, поит цветок,
Щедро себя отдавая в даренье.
Кто я?
Цветок или, может, поток?
Жажда сама иль ее утоление?

Может, я—поле, где клевер растет?
Поле, которому нету предела,
Меря которое, ветер и тот
Силы теряет, закончив полдела.

Или я—злак, что налит молоком?
Жаждающий зрелости колос пшеницы?
Радуюсь я в жизнелюбви своем,
Зная, что в зрелости гибель таится.

Эта пещера для предков моих
Кровом была в вековечной пустыне.
Вижу я: с каменных век неживых
Льются слезинки живые поныне.

Может, что было в далекий тот век,
Было не с пращурами, а со мною?
Может, сейчас из-под каменных век
Сам я стекаю холодной слезою?

Может, минуло мне тысячу лет,
Может, еще я на свет не родился?
«Кто же я, что же?—искал я ответ
И не нашел, как ни бился, ни тшился.



Мы всегда друг друга знали,
В мае вместе расцветали,
Дерева в садах и я.

Мы всегда друг друга знали,
Вместе пели и журчали,
Ручейки в горах и я.

Знали мы всегда друг друга
И пугали мы друг друга,
Лань проворная и я.

Мы всегда друг друга знали,
Вместе громом громыхали,
Буря горная и я.

Заметают годы вьюга,
Ныне знаем мы друг друга,
Я, седой, да край родной.

Двигается земля по кругу,
Мы глядим в глаза друг другу,
Я и век мой прожитой.



Со своим талантом безъязыким,
Со своим величьем невеликим,
С добротой суровой в час прозренья,
Со своей не новой точкой зренья,
С жизнью пройденной, не слишком сладкой;
Со своей крестьянской повадкой,
Со своей неловкою любовью,
Со своею кротостью воловией
Кем-то признан, кем-то нелюбим,
Ты идешь, твой путь неповторим.



Теперь уже того, что было, нет,
И женщины давно твой взгляд не ловят,
И юноши тебе не смотрят вслед,
И на пирах тебя не славословят.

Жизнь все, что нам дала, назад берет.
Уходят наша молодость и сила.
Будь рад, что жизнь печалей и забот
Тебя еще покуда не лишила.



Голову уткнув в колени,
Я сижу в преддверьи тьмы.
Я гляжу, как в отдаленьи
Слились горы и холмы.

И среди гор есть поколенья.
Знаю я наверняка:
Меж веками их рожденья
Тоже пролегли века,

Но сейчас одно виденье
Вижу я издалека:
В сумерках смешались тени,
Превратились в облака.



Бывает, сердце болью изойдет,
Но слово вовремя все ж не родится.
Бывает: не прольется дождь с высот,
И в поле жаждущем горит пшеница.

Приходят блага жизни к нам подчас
То слишком поздно, то чрезмерно рано.
И очень редко одаряет нас
То, что нам нужно и еще желанно!



Ты, первая любовь моя, была
Подснежником.

Недолго ты любила.

В снегу под первым солнцем расцвела
И веки влажные свои смежила.

Вторая, ты фиалкою цвела,
В траве густой смеялась ты украдкой,
И хоть в сравненьи с первой ты была
Счастливою, но тоже слишком краткой.

А третья розой алою цвела,
На выдумки и козни таровата,
Свои шипы мне в сердце вогнала,
Кого-то одаряя ароматом.



О, время, пожалей меня,
Верни, благое сделай дело.
Хоть редкий дым того огня,
Которым молодость горела.

Иль от моих грядущих дней
Даруй мне малую частицу—
Хоть дальний отблеск тех огней,
Что будут для меня светиться.

Всесильно в мире только ты,
И лишь твоей подвластны длани
И облака моей мечты,
И пропасти воспоминаний.



Куда бы ни шел я, куда б ни летел,
Манили меня из тумана
Своею прохладой вершина Гязбел,
Шумливый поток Воротана.

Зовут меня камни родной стороны,
Чинары у дома родного,
Зовут меня пахари и чабаны—
Товарищи детства бывшего.

И сладко мне думать, что где б я ни жил,
Туда мне дано возвратиться.
Что песни, которые так я любил,
Споют мне сюникские птицы.



Я помню: осени пожар
По склонам вьется ввысь.
Горит его холодный жар,
Как от огня спастись?
А что спастись от него,
Когда не жжет он никого?
Не страшен он и мне,
Но годы детства моего
Сгорают в том огне.



Журчит, журчит по взгорью
Чуть видный ручеек.
Течет, течет и вскоре
Вливается в поток.
Поток, с камнями споря,
Бежит к реке, широк.
Река стремится к морю,
И путь ее далек.
Кто помнит тот на взгорье
Далекий ручеек?
Но горе, если море
Забудет свой исток.

●

Куда ушли?
Как вы прошли,
Не мог я уследить,
Я не заметил дня,
Мне не в чем вас винить,
Мне жаловаться некому.
Но стоит мне закрыть
Глаза—
Вы у меня
Под веками,
Под веками!



Была благословеньем и проклятьем,
И худшею, и лучшей среди людей.
Чужою ты была в моих объятьях
И только в песне ты была моей.

Была мне оправданьем и виною,
Ты всем была, но не самой собой,
Была при мне, но не была со мною,
И лишь в беде была моей бедой.

Если б свершилось чудо

О, если б это чудо вдруг
Произошло без проволочки,
И тень мою ручей, как друг,
Понес бы к мельниковой дочке.

Чтоб все преграды наши смыл,
Чтоб бросил я цветы-цветочки,
А он их к берегу прибил
Под ноги мельниковой дочке.

Чтоб он, звеня среди камней,
Рыб золотящиеся строчки,
Как сердце, из груди моей
Увлек бы к мельниковой дочке.

Чтоб в свете солнечного дня,
Когда на ветках рвутся почки,
Немного моего огня
Прибавил мельниковой дочке.

Чтоб отыскал он прежний след,
Отнес меня к начальной точке,
Назад на тридцать с лишним лет,
В селенье к мельниковой дочке!



Жарок твой халат на вате,
К туфлям мягким ты привык.
Между креслом и кроватью
Весь твой мир, он невелик.
Ты и к этому привык.
Ты привык ко всем невзгодам,
В положении своем
День идущий числишь годом,
Год прошедший—кратким днем.

Сердце колет—ты привык.
Даже к боли ты привык.
Ко всему привыкнуть можно,
Только с тем, что ты старик,
Примириться невозможно.



Мне мерещится иль снится,
Будто я в горах брожу,
Детства своего частицы
Под ногами нахожу.

Слышу дятла и кукушку
Снова, словно первый раз,
Не сейчас...
А что сейчас?
На горячую подушку
Слезы падают из глаз.

Я оставил

Арутюну Галенцу

Я клочья снов моих,
Горячих снов моих
Оставил на ветвях, подобно шкурам.
Но ветер гор седых
Легко развеял их
И клочья снов моих
Понес навстречу бурям.
Лоскутья снов моих,
Горячих снов моих
Я зря ишу: их нет перед глазами.
Нет снов моих былых
Ни на ветвях пустых,
Ни на цветах сухих
Под деревьями.
Зыбь смеха своего,
Зыбь эха своего
Оставил у реки, не зная горя.
Где смех мой? Нет его,
Смыл дождик след его
И с водами понес куда-то в море.
От смеха моего,

От эха моего
Исчез и след былой, и даже память,
И ныне ничего
От смеха моего
Не видно на камнях
И под камнями.

На камень средь могил
Я в горе слезы лил,
Я не грешил напрасной суетою.
Их ветер не унес,
От тех горячих слез
Мох из земли пророс
Зеленою весною.
И зелень мхов густых
От горьких слез моих
Растет вокруг плиты
И под плечою.

●

Ветер морозный завыл,
И с разбега
Лес побелил,
И поля и дороги,
Мелкою пудрой первого снега
Шапку покрыл
И засыпал мне ноги.

Мне и паныне
От снега белы
Видятся эти видения детства.
В инее синие бродят волны,
Листья едят и не могут наестся.

Вижу: я мальчик, на камне сижу,
Холодно, роль пастуха не легка мне.
Синий, как камень, я зябко дрожу,
Может, лишь тем отличаясь от камня.

Вижу: отец ковыляет в снегу,
Хвороста вязку несет за спиною,
И говорит, поравнявшись со мною:
«Холодно?»
«Нет!»—улыбаясь, я лгу.

Ныне мне видятся издалека—
Снег и волны и морозное утро.
Я и отец—два седых старика,
Мы вспоминаем тот день почему-то.

●

Моя тропа была, да затерялась.
Мой свет забрезжил и погас вдали,
Над головою неба не осталось
И не осталось подо мной земли.

Во храме сыро, хоть снаружи лето.
Храм опустел, он погружен во тьму.
Нет отблеска, поскольку нету света,
И эха нет—что повторять ему?

Лежат осколки изваяний сбитых,
Лежат повернутые купола,
Пыль под ногами, где на стертых плитах
Ни имени не видно, ни числа.

Смешалось все:
Колонны и хораны,
Следы короны
И рубцы от раны,—
Все то, что щедро было мне дано.

И жизнь, растроченная мной без толку,
Как безъязыкий колокол, умолкла.
Я—храм былой, где служба шла недолго,
Где нет молящихся давным-давно.

Ж и з н ь

Приходишь ты ко всем случайно,
Уйдешь—согласия не спросишь.
И часто остается тайной,
Что ты приносишь, что уносишь.

Приходишь к людям как смятенъе,
Как сон уходишь ты, которая
Сходна с бесплатным представленьем,
Оплаченным сполна актерами.

Я устал

Устал я.

Я устал спокойно течь,
С самим собой вести беседу с детства.
Устал продуманную слышать речь,
Устал я от словесного кокетства.

Устал я от копеечных забот,
Устал от вечной купли и продажи.
Устал я ждать, что лучшее придет,
Быть у своей амбиции на страже.

Устал я зариться на пьедестал,
То примерять, что для меня огромно.
Я званье скромное свое устал
Всю жизнь эксплуатировать нескромно.

Устал ото всего, что в жизни брал,
Всего, что было впору и не впору,
От преклоненья идолам устал
И от оваций каждому танцору.

Устал я петь и ободрять людей,
Идущих более, чем я, устало.
Усталый, от усталости своей
Устал я!

Я был богат

Не золотом, упрятым в мешок,
Я был богат счастливыми мечтами.
Я семь небес легко купить бы мог,
Чтоб все тебе их подарить на память.

Но не хотела ты мой дар принять.
Тебе от жизни было нужно мало:
Из всех богатств платок, чтоб утирать
Слезу, что на глаза мне набегала.

Я был богат не золотом в горсти,
А тем, что в памяти моей осталось.
Я мог бы все моря приобрести
И дать тебе, но в них ты не нуждалась.

Ты не брала ни берегов, ни вод,
Ты в зеркало гляделась безутешно.
Ждала, что в волосах твоих всплывет
След от моих недавних пальцев грешных.

Не золотом, сжимаемым в горсти,
Я был богат; мой клад—мои утраты.
Я мог бы звезды Млечного Пути
Купить и дать тебе, но не брала ты!

Не к небесам ты устремляла взор,
Тебе нужна была иная малость—
Из всех сокровищ вытертый ковер,
Где след застыл мой, как тебе казалось.

Тебе отдать хотел я семь миров,
Но были не миры нужны для счастья.
Ты от меня ждала сердечных слов
И доброты немного, и участия.

Я был богат и, заплатив сполна,
Мог вечность подарить тебе, как слово,
Но вечность не была тебе нужна,
Был нужен месяц или день медовый.

Ты жалких не брала даров моих,
Все ценности с досадой отвергая,
Тебе из всех сокровищ золотых
Нужна была лишь свадьба золотая.

Я был богат не золотом в горсти,
Землей и небом—всем, что видит зрячий.
Я богатейшим был среди людей,
Но ты любила, ты была богаче.

Жизнь не замрет

Когда уйду я на исходе лет,
Что на земле убудет, что случится?
На пятом этаже погаснет свет,
Твой ясный взгляд на время помутится.

Но птицы вновь направятся на юг,
А дети в школу, будто все в порядке,
И окропит роса траву вокруг,
И доживут цветы свой век на грядке.

И прояснится взгляд твой, и окно
На пятом этаже зальется светом.
Жизнь не замрет, ей будет все равно,
Есть я, иль нет меня на свете этом.



Шагать мне приходилось на веку
Босому по горячему песку.
Еще теперь болят мои ожоги,
Я не забыл еще былой тревоги,
Она еще живет в моих глазах.
И хоть теперь в удобных башмаках
Иду я по накатанной дороге,
Я до сих пор испытываю страх,
Мне кажется и ныне, что в песках
Я увязаю, обжигаю ноги.



Нет, не зовите, не сулите рай!
Как я могу оставить этот край!
Как я переселюсь в другой предел,
Где нет айренов, песен «оровел»?

Я думаю с тревогой и со страхом
Про жизнь свою и смерть в земле иной.
Пусть смертный, я и здесь смешаюсь с прахом,
Но здесь моя земля и прах родной.

Мне счастья не найти в чужих долинах,
В краю ином, где б вскоре я зачах,
Нет столько солнца в снеге на вершинах,
Нет столько снега в солнечных лучах.

Как я уйду с земли, где каждый камень,
Ручей и борозда, и старый сад
В мои глаза моими же глазами,
Глазами детства пристально глядят?

Земля моя, я на любые беды
Готов идти с тобой, тебя любя,
Как поднимусь я и куда уеду,
Как жить я буду где-то без тебя?
Как жить я буду где-то без себя?

Ш и п о в н и к

Мартirosу Сарьяну

По прихоти веков меж серых скал
Навис утес над пропастью отвесной.
Причудливо простерся он над бездной,
Закрывши небо, сам он небом стал.

В его гранит шиповник врос корнями,
Растенье с камня как бы вверх ногами
Свисает, на две части мир деля.
И для его стволов холодный камень—
Одновременно небо и земля.

Растет неприхотливое растенье,
Вбирая влагу с тучи, как с руки,
И видя солнце лишь как отраженье
От волн текущей в пропасти реки.

И хоть паренье горлиц легкокрылых
Колелет чуткие его стволы,
Но даже бури горные не в силах
Согнуть шиповник, вырвать из скалы.

Он выше всех своих невзгод и тягот,
Он расцветает каждую весну,
И сгустки крови—капли алых ягод
Роняет осенью на крутизну.

Растет шиповник, недоступный людям,
Но видный снизу, в нас рождает он
Мысль о капризах и различьях судеб
Гранитных скал, растений и племен.

В родимую скалу уйдя корнями,
Растет шиповник, мира не хуля,
Нет неба, нет земли, есть только камень,
И этот камень—небо и земля.

Когда не пишется

Сколько месяцев подряд
Всё горит, дожди не льются,
Дали громом не гремят,
И деревья не смеются!

Сколько месяцев подряд
Не взлетают в небо птицы,
Песни в мире не звучат.
Если где пройти случится,
Пыль за мною не клубится,
Камни мертвые молчат.

Сколько месяцев подряд
Не сидится мне, не спится,
Что ни скажешь—все не в лад,
Предо мной бела страница,
Слово в строчку не ложится,
В сердце строчки не горят.
Долго ль это все продлится?
Может, и не возвратится
Жизнь моя ко мне назад?

Что семь оборвалось плетенных мостов,
Семь белых саванов износилось.
На свете прошло семь дней и ночей.
Окрашенных кровью семь зорь
отмелькали,
Семь взмыленных, семь одиноких коней
В селение без седоков прискакали,
Пугая женщин, детей, стариков.
Семь верных коней без семи седоков.

Читали в церквах, как велит наш закон.
Псалмы семь недель и семь дней в неделе,
И плакали семь овдовевших жен,
И семь младенцев в семи колыбелях.

Минуло семь лет и еще семь лет,
И семь столетий друг друга сменили,
Семь вражеских орд..
Где их память, их след?
Их люди проклиjali и позабыли!

А тех семерых покоится прах
В семи сторонах на семи холмах.
И помнят потомки до нынешних дней
Семь песен о подвигах их незабвенных,
Семижды в году семь нетленных огней
Горят на семи их могилах священных.

Родная деревня

О, родное село,
У меня на плечах,
У меня на ногах пыль дорог и метелей,
И до срока осел на моих волосах
Пепел звезд, что столетья назад
отгорели.

Неизвестность дороги мне сердце
свербит,
Сладкий холод тревоги меня леденит,
Но я слышу знакомое с детства дыханье.
На глаза набегает слеза покаянья.
На устах моих высохших шепот
повинный,
И в ушах моих шелест пожухшей листвы.
Слышу запах пшеницы и прелой травы,
Шелест бронзовый осени нашей
недлинной,
Я с чужбины на крыльях лечу
журавлиных
И в смущеньи поднять не могу головы.

Под стеной крепостною, как в годы былые,
Седоусые старцы сидят на бревне.
Все осталось, как было, а старцы иные,
Те, что были еще молодыми при мне.
В неподвижной своей стовековой
печали
Восседают, как некогда те восседали,
С бородами, достойными древних
святых

Щеки старцев исчерчены, словно
скрижали,
Шапки их наподобье грибов земляных,
Старцы благословения не пожалеют
И подарят прозренья, что горе развеет,
И расскажут не новый суровый рассказ,
Что, быть может, окажется новым
для нас.

Как рождались армяне и как умирали,
Как сражались с врагами и как
побеждали,
И от их поражений былых и побед
Нам, внимающим, станет по тысяче лет.
За спиной нам увидятся дальние дали,
И, рожденные в дальних столетьях на свет,
Мы почувствуем, что за века возмужали...

Но меня озаряет прозрения свет.
Мыслю я: если так, почему же другие
На бревне старики восседают седые,
А не прежние, те, от которых впервые
Я мальчишкой услышал упрек и совет?

Старцы с белыми сросшимися бровями,
Отличая от истины блажь и тщету,
Воплощают в рассказах свою доброту,
Как и те старики, напрягавшие память,
И, быть может, немного другими словами.
То толкуют мальчишки, что ведомо мне.
Прежних старцев позвали дороги иные
И другие почтенные боги земные
Скромно заняли место на старом бревне...

Стихи о моих свойствах и спутниках

Я **ЗРЕНИЕ** издавна считаю
Своею сильной стороной.
Я цвет опасности спиной,
Цвет солнца кожей ощущаю.
Глаза открою—вижу путь,
И снег, и небо меж горами.
Но лишь закрытыми глазами
Могу я видеть жизни суть.



Мой **СЛУХ** способен уловить
И тихий шепот двух влюбленных,
И звуки слов неизреченных,
Тех слов, что следует таить.
Я слышу щебет птиц во ржи,
И гром, и тишину молчанья,
И даже правду ото лжи
Я отличаю по звучанью.



Я **ПАМЯТЬ** не сравню с женою.
Ах память, память!
Мне она
Не изменяла молодойю,
Теперь, старуха,—неверна!

●

К САМОПОЗНАНЬЮ изначала
Я не был склонен—вот беда—
И потому терпел всегда
Печалей всяческих немало,
И много более стыда.

●

ВОЗМОЖНОСТИ мои.
Какой в них прок,
Когда не смог
Я сделать то, что мог?

●

ТЕРПЕНИЕ мое—мой вол.
Он тянет плуг, покуда может.
Идет мой вол, хоть путь тяжел,
Идет, ярмом стирает кожу.
Но знаю я, что день придет,
На камень лемех вдруг наткнется,
Воловья жила оборвется,
Воловье сердце разорвется,
И вол на поле упадет.

●

Ах, ДОБРОТА моя, ты—умница,
Но как с тобой мне жизнь прожить?
Ты словно жертвенная курица,
Которую нельзя сварить.
Она в моем саду копается,
Но гнать ее не полагается.
Она клюет зерно весь год
В моих владениях, а яйца
В чужом курятнике кладет.

●

Мои ИЗЪЯНЫ...
Что там говорить!
Их очень много—не один десяток,
И то, что я их не умею скрыть,
Быть может, мой крупнейший
недостаток.

●

НЕВЕЖЕСТВО мое, какой ни есть,
Я от тебя избавиться старался,
Казалось мне, что я с тобой
расстался,
А ты нет-нет да подавало весть.

●

Как с ОДИНОЧЕСТВОМ мне быть?
С ним быть наедине мне хочется,
Но не одна связует нить

●

ЗАБОТЫ вновь меня одолевают.
Их гнет и произвол—я все терплю.
Поздней меня заботы засыпают
И бодрствуют, когда еще я сплю.
Но я смеюсь, злорадствуя уныло,
Предчувствуя теперь, что день придет,
И долг препровождать меня в могилу—
Хоть это будет вне моих забот!

●

В чем состоит мое **СТРЕМЛЕНИЕ**:
Не быть обузой никому.
Свой груз, печали и сомненья
Нести стараться самому.
Стремился я сказать вам слово,
Которое б осталось впрок,
Не погубить зерна такого,
Которое взрастить бы мог.
Стремился жизнь прожить как надо,
Все завершить свои дела,
Хотел, чтоб легкой смерть пришла,
Как справедливая награда
За жизнь, что легкой не была!



Утро. Играя, через ердык,
Переливаясь, струится небо.
Матери запах—запах груди,
Запах света и запах хлеба.

Стряхнула долина теплые сны,
Мокрый ветер, босые ноги.
Запах ливня и запах росы,
Запах смеха и запах тревоги.

Солнечный склон, загорелая тропка,
Дочерна обожженная зноем.
Запах подъема и запах пота,
Горьких трав хмельного настоя.

Снег глянцевитый и рядом—
Цветы в изобилии дикорастущем.
Запах облака и высоты,
Запах преодоленной кручи.

Склон теневой и заплаты мхов,
Травы, вздрогнувшие от страха.
Запах сырости и грибов.
Запах држи, озноба запах.

Ужас ущелья, иссохший ручей,
Воздух, простуженный, точно ледник.
Запах холода, запах пещер,
Запах мрака и запах бездны.

Пригоршня праха и горсть земли.
И наконец-то—покоя горстка.
Запах ладана, запах свечи,
Запах прощанья и запах погоста.



Земля в лихорадке цветенья,
Вся в клетоте, пене и пухе,
В ликующем исступленьи—
И жадное ищет ухо.

На каменной твердой ладони
Клок неба—свечение духа,
Лучами исходит и стонет—
И нежное ищет ухо.

Здесь птичьи турниры и схватки,
Здесь брачная заваруха,
Но росный «шах-квач» куропатки
Чуткое ищет ухо.

А там, среди прочих звучаний,
Еще не испытанных слухом,
Влюбленной косули мычанье
Доброе ищет ухо.

Май в звук превратился, в усердьи,
Что я не услышу—в тревоге,
И смертно тоскуя о боге,
Дарует мне в мае бессмертье.

●

О, если некому воздать мне по заслугам
За поле, вспаханное плугом,
За труд—с зари и до зари,
Как мне осилить пустыри,
В сад превратить плодоносящий?
О, если не к кому
Душе моей скорбящей
Припасть в тоске, смятенье и тревоге,
Как разбудить в уснувшем боге
Проспавшую свои заветы совесть?
О, если некому
Поверить в мое слово,
Как совладать мне с многоликой ложью?
О, если ни единый не поможет
Найти ключи от запертых ворот,
Как мне воспеть большой круговорот—
Все то, что в мир
Приходит
И уходит?..

З а к а т

Легучей кистью закат коснулся
Каждого перышка облачной павы.
Увидев жар-птицу, вдруг поперхнулся
Жаворонок песней кудрявой.

Закат и горы раскрасил алым.
Перед смертью поправил—синим.
Но вздох последний—лучи косые—
В зрачках моих долго не умирали.

●

Уходят горы в небо друг за другом,
Расщелины уводят к преисподней.
Мрак ежится от звездного испуга,
В ущелья глянув, обмирают звезды.

А горы ссорятся, не могут поделить
Между собой ни облака, ни тени,
И снова старятся—им время уходить
По звездами осыпанным ступеням.

Уходят горы,—в шлемах, как в котлах,
Озябший зной. Зной мерзнет и клубится.
Уходят горы, и на их рогах
Уселись молний огненные птицы.

Внизу—пennорожденная вода,
Разбив доисторическое чрево,
Уносит к изнывающим посевам
Все тайны гор в прозрачных неводах.

Уносит вниз, а здесь, вверху, орех
Сверлит упорно каменное диво:
Семь глав,
Семь глыб,
Безводных семь помех
Он должен пробуровать терпеливо.

Что значу здесь я, среди этих мер,
Сверчок, нуждающийся в крыше?
Пою, а песенки не слышно
Ни на высотах, ни в глуби пещер.



Утро и солнце.
В травах
Стежкою луговою
Льется ручей, и знамя,
Синее вешнее знамя
Держит над головою.

Раннее, раннее утро.
В росных и рослых травах
Тополь шагает,
В кроне—
Солнце в синей оправе.

Утро и солнце.
Травы.
Смуглой рукой раздвинув,
Юный цветок возносит
Венчик свой синий-синий.

Утро и солнце.
В травах
По тропе муравьиной,
На муравьиных спинах
Двигается труп пчелиный.—
Раннее, раннее утро.

Что делать мне, мать?..

Чем ни попало—
Мне крепко влетало
За поступки мои,
За проступки мои.
Чтоб запомнил урок.
Слезы лить запрещала,
А потом целовала
Каждый кровоподтек
И вместо меня,
Тайком от меня
Плакала, мать.

Нет ее. Нету. Не стало.
Некому плакать мне запретить,
Некому раны мои исцелить,
И вместо меня.
Тайком от меня
Поплакать впотьмах...
Трижды виновен, но чтобы так!..
За какой же поступок,
За какой же проступок
Наказан я, мать?..

Л е т н я я н о ч ь

Дом засыпал. Соломенная мгла
Его землистой пылью покрывала,
Потом луна, как снегом, осыпала,
На крыше тень от тополя спала,
А в очаге дремал огонь усталый.
Спал белый кот, спал старый пес
На лунных, выцветших узорах.
А ветру что-то не спалось,
Слонялся ветер, подпирал заборы.
И развалясь, вельможные волю
Степенно и торжественно жевали.
Под самой крышей наши сны не спали,
Землей пропахшие, соломенные сны.
Мечтала ночь, колени обхватив,
И светлое лицо свое клонила,—
Но лишь денница восходила,
Сны спать гнала, согласья не спросив.

Всё под землей. Все беспробудно спят—
Очаг, собака, запахи, молчанья,—
Землей засыпаны...

А на земле—

шуршат

Пропахшие землей воспоминанья.

В о л

Он первым выю впрягал в ярмо—
Кормилец, надежда голодной оравы.
На лбу полнолуние, как клеймо.
Вол был волом: работящ, исправен.

Он страстью плуга был и судьбой,
Был выводящим плуг на орбиту,
Ракетноносителем и судьей—
В спорах совести—главным арбитром.

И если бы люди счастье нашли,
Вол оказался б его сердцевиной.
Вол был трепетом спелой земли,
Скорбью пустующего овина.

Когда же его настигала плеть,
Вол сам себя выгонял из боли.
Вол был волом, он умел терпеть
И был свободным даже в неволе.

Он был доброты бессловесной скирдой,
А харч был скуден—трава да солома.
И кроток был, и упорен, и скромнен,
Что поделаешь—был собой.

Пахнет закатом. Темнеет, темнеет...
Тени теряют голубизну.—
Ты, плуг мой, тяжел, я как вол, потею,
Боюсь своей тени,
И все же— тяну.



Собою был и всеми сразу.
Кем только ни был—пастухом и князем,
И исполнял, и отдавал приказы.
С одним был близок, а с другим далек,
К тому захаживал на огонек,
Чтоб скоротать за пивом вечерок.
Был лесом, щеголяющим листвою,
И августовской выжженной стерней,
А иногда бывал и целиной.
Был разным, лишь бы не сказали,
Был всяким, лишь бы не прогнали,
Чтоб только лишним не назвали.
Замес был крут, и я бы мог...
Я был задуман как пророк,
Как бог,
И прям я был,
И был высок,
И был, как сто моих дорог,
Изрезан вдоль и поперек,
Запутан так, что сам не смог
Найти свою в клубке дорог.

●

По гребню горы пронеслась гроза,—
И покатился под гору гром.
Дерево, вздрогнув, открыло глаза
И сон смахнуло птичьим крылом.

Загрохотал по ущелью гром,—
В сердце лесном родился ручей,
Разбежался и стал пучком
Водопадающих лучей.

Обожгло глубину небес,
Заплутались тени в траве,
Шепотом стало дыханье, и лес
Утонул в молодой листве.

Хлебнула земля грозового вина,
Отгрохотало—и мир притих.
Душа, как туча, полным-полна:
Обожги—и сорвется стих...

●

О Лорагет¹, не знающий утрат!
Тропа—и та
Не сделалась короче.
На солнцепеке, после бурной ночи,
Бессонной ночи те же звезды спят.
И песенку, рожденную на дне,
К сторожевым, к береговым утесам,
Как и когда-то, волны на спине,
Баюкая, как прежде, переносят.
И струи светоносные текут,
И опадают, оседают пеной,
И тени, как олени, небо пьют
И входят в это небо по колено.
Бессмертный свет, новорожденный свет—
Как тополёк, облитый клейким лаком!
А матери на белом свете нет,
И юность мою некому оплакать.

¹ Лорагет—название горной реки.



И потом покрылся пещерный лик,
К пасти зияющей тучу влача.
А куст ежевики к надбровью приник
И градины сыплет в фартук ручья.

Дымится шиповник на плоских камнях.
Бессильное пламя в туманном плену...
Что думает узник о вольных ветрах?
Что видит он сквозь пелену?

Пустынное небо. Пустую тропу.
Уступы и гроздя пустующих гнезд.
Сгорает шиповник—дымят на ветру
Костры остывающих звезд.

Лишь где-то в ущелье весны островок—
Трава зеленеет всему вопреки,
Топорщится свежий и мокрый пучок
В просторном подоле реки.

Кого он обманет? Весны не вернуть.
Гляди—даже лес обезумел и пуст,
Состарились скалы, и кутает грудь
Последний мудрец—облетающий куст.



Брожу над рекою, в ночи брожу,
Наполненный плеском
И блеском звезд.
В природу, как в воду ночную, вхожу,
В ночь ухожу.
А речная волна,
Плеском и блеском моим полна,
Бродит, тоскуя в бденье ночном—
Горной тропею, Млечным Путем.

●

Был легким ты, был птицей ты.
Бессонным был, бездонным был.
Сам раб себе и господин,
Один, без ноши, налегке,
И весь твой скарб, и весь твой быт—
Пушинка в детском кулачке.
Ни убивающей любви, ни страха тленья
Ты не знал. И в ослепленье зажигал
В костре заката новый луч,
И среди света свет сиял,
И виночерпий наливал
Вино с надеждой пополам,
Ты чашу подносил к устам,
И вкус вина был жгуч и ал.
И не маячили вдали
Ни пыль заезженных дорог,
Ни ноги, до колен в пыли.
Спокойно плыли корабли,
И не мешали мели им.
И по твоим следам земным
Еще не кралась ложь, как лис.
Но тропы вдруг переплелись...
Стопу поставив в след чужой,
Быть перестав самим собой,
Ты оперенье растерял.
И вот ты вол, и вот ты мул,
И выюк хребет тебе согнул.
Его волочь тебе невмочь,
И ты давным-давно устал,
Но разрешит тебе привал
Последний твой погонщик—ночь.
Та, у которой нет

конца.



Последних птиц в дорогу проводила
И лишь тогда глаза она смежила.
Потом еще подвинулась и сжалась—
Уже не речкою, а струйкой продолжалась,
Тянулась нитью меж камней.
И позабыли путники о ней.
Ну что ж!

Она свое свершила дело.—
Ее большое и тугое тело
Дробило камни и само дробилось,
И, прежде чем на ручейки разбилось,
Песок месило, тину уносило
И удобряло землю жирным илом.—
Качнуло к югу птичьи перелеты...
Спасибо, речка, за твои заботы,
За неусыпные, бессонные—спасибо.

И снова иди

Все ближе закат.
Среди прочих теней—
Гляди:
Твоя тень много длинней
Длинного перечня прожитых дней,
И все удлиняясь, дрожит на нуле.
Отсюда ты начал свой путь на земле.
Перешагнул на рассвете порог...
И тень, как собака, юлила у ног,
И ноша была не легка, но сладка,
А не дошел...
Высока,
Далека
Витает вершина твоя в облаках,
Как в тот колыбельный,
В тот розовый час.
Поторопись! Еще день не угас.
Чистой тучею пот оботри.
Поторопись, пока свечку зари
Дланью своей не накрыла тень.

Там, на вершине, длиннее день.

●

Задурил он—и как ни бывало
Облачно-белого покрывала.
Ветром сдуло и унесло
Радуги сломанное весло.

Ветер разрушил осени дом,
Ветер свет повернул вверх дном,
А вы твердите, пряча улыбки:
«Допускает ветер ошибки».

●

Ушла, сломавшись, молния в скалу.
И кто-то умер, там, на острие.
Благословен—гроза взорвала мглу
И отступила в царствие свое.
И кто-то умер, умер на лету.
Сложивши крылья, прыгнул в высоту—
Благословен ушедший на лету.

И снится мне,
И шепчут мне во мне,
И громок шепот, точно шепчут трубы,
Что где-то там, на самом острие,
Там, где земля целует небо в губы,
Где молния ударила скалу,
Мой умер стих.
Завидую ему.

●

Сыну

Посмею ли отказать

В простом очаге,

В просторном жилье,

В хлебе, вине, в домашнем тепле,

В свадьбе,

И в свадебных щедрых дарах?

В той, что одна на земле

И в судьбе—

В родине сыну мне ль отказать!

В прочных, в века уходящих корнях,

В звездном пологе в головах,

В красных горах и в зеленых горах?

Земля!

Ты зажата в моей горсти...

В этом последнем, горьком «прости»

В землю сходящему мне ль отказать?!

Смертному—мне ли не обещать

Горсточке праха—пригоршню слез?

Стеблю, прибитому пылью колес,

Зноем спаленному, павшему ниц,
В бедной слезинке с влажных ресниц—
Мне ли в дождинке цветку отказать?
Мне ли правнуку не завещать,
Мне ли потомкам не обещать
Света души в светильнике строк—
Все, что при жизни скопить я смог.

●

«Разуть да в крапиву! К столбу привязать!»

—Ай, как гневалась твоя мать!

И даже отец мой дал волю рукам

И больно меня отхлестал по щекам.

—Сопляк! Бесстыдник! Тоже мне хват!—

—Э, бросьте, парень не виноват,

Все дело в девчонке, а он не при чем,—

Пошла деревня трепать языком.

Вот что наделать может пчела!

И как она в щеку ужалить смогла?..

А я только вытащил жала кинжал

И место укушенное

поцеловал...

О как мы были тогда чисты,

И как наивны—и я, и ты—

И как прозрачны—до самого дна...

Невинны—и в этом была вина.

●

—О не спеши, оглянись, постой!—
Шиповник шепнул у меня за спиной.—
—Ты что, позабыл меня там, вдалеке?—
За полу тянет и жметя к руке.

—Боль позабыл, позабыл, как остры
И как коварны твои шипы,
Но полыханье твоих костров,
Но колыханье твоих цветов,
Шепот твой утренний,
Шелест ночной—
Дикий шиповник, всегда со мной...

Возвращение

1

Крапива все гуще,
И глуше,
И выше,
И к грядкам все ближе,
А сорные травы,
Дорвавшись, уже учинили расправу
Над нашим тархуном, а выше, на крыше
(единственной жестью не тронутой
крыше)—
Побоище маков, и хуже отравы
Быть званым на пиршестве этом
крававом.
И самозванное их благородие,
Словно в пожалованных угодиях,
Восседает павой в гнезде—
Мотовка, плутовка,
Сорока-воровка
На яблоне нашей, на нашей княжне.
А тополь наш, тот, что казался колонной
Гладко-мраморной, вечнозеленой,
Тополь, увенчанный царской короной—
В синюю высь улетающей кроной,—

Ныне, как нищий в лохмотьях своих.
Там—в ожидании воробьих—
Ссорятся сразу на сто голосов
Жадные выводки вздорных птенцов.
И перевесившись через плетень,
Шиповник развесил рваную тень,
Заплатами перехватив горловину
И щеку рябую пустому кувшину.
А в нашем сарае, где сено хранилось,
Зеленая ящерка поселилась
И, торжествуя, живет не спросясь,
Словно владетельный маленький князь.
А там, где жил теплый и хлебный дух,
Плетет свои злые маршруты паук.
Квашня—в ней месили веселое тесто,
Когда Хачипап себе выбрал невесту,
И после месили печальное тесто
На упокой Хачипапа души,—
Стоит, как гробница, в бесхлебной глуши
И приторно плачут, свесившись с балки,
Над преждевременной гибелью скалки
Лысые, злые, гнилые поганки.
Не выдержав пламенного настыра,
Когда-то полопались губы тондыра,
Лизали их жадно огня языки...
А ныне растрескались от тоски
По огненной пляске,
По пламенной ласке.

А в комнате той, где Саак-даи
Четки перебирал свои,
Перекатывал в пальцах изношенных,
В комнате той, где один-одинешенек

Перебирал он «добро» и «зло»
И всегда выбирал «добро»,
И грела Саака его доброта,—
Властвует пыльная пустота.
В комнате той, где один-одинешенек
Старый Саак в своем сердце изношенном
Молча беседовал с сыновьями
(Семь фотокопий в хороших рамах),
Рождения их вспоминал и свадьбы,
И все, что когда-то случилось с каждым...
Все семеро живы, а он—бобыль.
Ах, в комнате той—пустота и пыль.
В комнате той, где Саак-даи...
Где видел, Саак, ты счастливые сны—
В тех снах сыновья возвращались твои,
Спешили домой, не дождавшись весны,
Все семеро сразу являлись домой,
И согревался Саак душой,
И просыпался старый Саак,
Проснувшись, согреться не мог никак...
Теперь в этой комнате солнца лучи
Блуждают, как тени блуждают в ночи,
И ощупью ищут уснувшие веки—
Пощекотать их лучащимся смехом,—
И вязнут в холодной пыли фотографий,
Пылью покрытые, мечутся в страхе,
Словно слепые летучие мыши:
Криком кричат, и никто их не слышит.
А в комнате той, где Саак-даи...
Какое же сердце, Саак-даи!..
Забывших, предавших—ты всех их
прости

И семь фотографий в семь ранних могил

И сердце в кладбище не превратил.
А помнишь, Саак, ты большую войну?
Вернулись с войны, не пропали в плену.
Но что-то случилось, случилось потом—
Один за другим все покинули дом.
Ушли—и следы потерялись в пыли,
Ушли—и пропали в безвестной дали,
В безвестном крушенье,
В безвестном сраженье—
Они для тебя все равно что мертвы.
Мертвы, а ты, старый,
Для них, да для них,
Не забывавших тебя—живых...

О как терпеливо мой добрый Саак
Для них разжигал домовитый очаг.
И сад их стерег и берег их кров—
Дом их прадедов, дом их отцов,
И с благодарностью,
С благословением
Им посылал, что для них приберег,
Все, чем побаловать их еще мог:
Темный гранат, белоснежный чеснок,
Последние яблони старой плоды..
Ах, как были, Саак, щедры
Скудной земли скупые дары!
А дети спокойно дары принимали
И в письмах утешить тебя забывали,
И не успели, и не успели..
Один умирал ты в своей постели,
Один-одинешенек с гостьей непрошенной.
Ей и прочел ты свое завещанье,
И при последнем своем издыханье

Не было в доме твоём ни души.
Теперь не догонишь—спеши не спеши.
Но дети, как водится, поспешили,
И как положено,—похоронили,
И плакали, плакали, задыхаясь,
Над свежей могилкой терзаясь и каюсь.—
Но только ступили с родного порога—
Опять разошлись по своим дорогам.

А в комнате, в комнате, в комнате той,
Где старый Саак ещё прошлой весной...
Печная зола уже сделалась мхом,
И дверь заколочена свежим крестом,
И старый Саак из другого жилища
Глядит на печальное пепелище,—
Я в комнате этой сегодня один,
Твой старший, твой самый неправильный
сын,

И совесть вдруг сделалась тяжкою ношей...
В дедовском доме, один-одинешенек,
Наедине с непосильной утратой
Даю себе сам непосильную клятву:
Прогнать эту дикую, злую орду,
Развеять,
Рассеять—
Осилить беду,
И от запустения,
От разорения
Спасти свой наследный, фамильный очаг!
О, что же мне сделать, мой мудрый Саак,
Чтоб снова запахло уютом и дымом
Над милым порогом, порогом родимым?..

Д е д

На все руки—
И швец, и жнец,
Первый каменщик и кузнец,
Садовник и пахарь,
Плотник и знахарь—
Все на свете умел мой дед.
Камни забить в молотильные доски,
Косы отбить ли перед покосом,
Дом сложить,
Гранат посадить,—
Всех в селе выручал мой дед—
Сват не сват,
Сосед не сосед.
И всюду-то дед Хачипап успевал:
Грядки полонил,
Огород поливал,
Дом свой как следует содержал,
И сеял,
И жал,
И не уставал—
Обжимая тело снопа,
Не руки болели,
А ручка серпа.
Умел разговаривать дед с землей,

С камнем, деревом и травой,
С каждой птахой
И зверем всяким,
Тёк с ручьями,
С облаком плакал.
И вдруг на пахоте—занемог.
Откуда немочь—понять не мог.
Бросил плуг, покраснел от стыда:
Такого с ним не было никогда.
И выступил пот и остыл на лбу.
И лег Хачипап в свою борозду,
Семенем лег и смешался с землей—
С лесом, облаком и травой.

Утес

Тяжело сидит утес в ущелье—
Посредине детства моего.
Пот ручьем со лба его струится,
И с плечей свисают мох и плющ.
Он сидит, надев, как шапку, небо,
И приберегает в рукаве
Каждому какой-нибудь подарок:
Облачку приبلудному—карниз,
Голубю лесному—горстку зерен,
А козуле горной—тишину.
Путнику, уставшему с дороги,
В стужу он дает свое тепло,
А в жару—зеленую прохладу
Или воду, пахнущую льдом.
Духу древнего гостеприимства
Он не изменяет никогда:
Каждого по-царски одаряет,
Ничего не требуя взамен.
Он, как патриарх, сидит в ущелье,
По густым бровям его течет
Рыхлая и медленная туча.
Я смотрю сквозь дымку на нее
С обожанием единоверца,
Я смотрю, смотрю—и острый ком
К горлу подступает...С подбородка
Тень свисает черной бородой
На сухую грудь... И брезжит сходство
С кем-то очень близким. Черт возьми,
Ну, конечно, с дедом Хачипапом,
Он на деда старого похож!

Четыре лета
ушло

Остался на камне бич,
Осталось в буртах зерно,
Ревмя заревевший бык
На землю сбросил ярмо.

И ветер, как черный шквал,
Над крышами взял разбег,
И с ясного неба пал
На голову мамы снег.

Ушли...И один малец,
Усевшись в арбе, уснул,
И, перекрестясь, кузнец
Кувалдой в сердцах махнул.

На мельнице тишину
Не расшевелит река:
Зерно ушло на войну,
Ушла на фронты мука.

И в муках большой войны
Лежит за селом страна,
А вести темны, черны,
Лишь вера одна красна.

Четыре лета ушло.
А тяготам нет конца.
Семь писем—семь бед—легло
На старого кузнеца.

Когда же легла светло
На майских цветах пыльца,
Семь снимков—семь плит—
легло
На старого кузнеца.

Он молот семь раз вознес,
Ударил в сердцах семь раз,
И не утирая слез,
С досады ударил в пляс.

От счастья ударил в пляс,
А рядом с ним—за отцов,
А рядом с ним—вот так раз!—
Семь внуков, семь сорванцов.

Теперь-то уж у него
И правнуков полон двор,
Но молот свой все равно
Он держит и до сих пор!

**Птицы мои,
небесные птицы**

Птицы мои, небесные птицы
Из перелетной стаи,
Вы не успели и опериться,
А уже вашими стали

И старые гнезда в тенистых ветках,
И новенькие скворечни.
Вы—счастливее ваших предков
Юностью вашей вешней.

Ваши повадки, ваши усилия
Мне еще неизвестны,
Вы только-только раскрыли крылья,
Только запели песни.

Птицы мои, небесные птицы,
Кто вы? Куда летите?
За вереницами вереницы
Тянутся ваши нити.

Чувствуя зоны тысячелетий
И подчиняясь зовам,
Вы поднимаетесь на рассвете,
Мчитесь походом новым.

Как же ни ветер, ни лихорадка
Не изменили хода
Старо-классического порядка
Вашего перелета!

Моему Воротану

Акопу Салахьяну

Кому досадно, а кому смешно,
Что о тебе я говорю давно,
Что грохоту твоих порогов в тон
Язык моих писаний посвящен.
Ты из веков торопишься в века,
Армении родимая река!
Питаясь таянием ледников,
Ты паром вновь встаешь до облаков.
И как ни «узок» и ни «стар» твой путь.
Завидую тебе, не обессудь.

Воротан

Ложится небо синью первозданной
На снежных гор курчавый завиток.
Внизу бушуют волны Воротана,
Разбрасывая воду и песок.

Вода ли, сумасшествуя, взбесилась,
Иль небо, с миром потерявши связь,
На голову высоких гор свалилось
И ниже устремляется, катясь?

Фонтаном брызг, кипящим ливнем пены
Вода потока тяжестию всей
Бросается на каменные стены,
Как стая перепуганных гусей.

Бушуя и шумя, ты выйдешь к морю,
Пробивши путь средь камня и песка,
С безоблачностью дня и неба споря,
Сестра поэта, чудная река.

Рождай в ущельях отзвук неустанный,
Из пропасти подпрыгивая ввысь,
Спешь вперед, течение Воротана,
Зови и увлекай, и вечно мчись.



Стремительно летит машина,
Вот и последний поворот,
Где отчий дом на дне долины
Опять передо мной мелькнет.

Но чуть я этот дом замечу,
Опять негadan и неждан,
Мне волны выкатит навстречу
Покрытый пеной Воротан.

В оцепенении застыну,
Чтоб в море он с собой отнес
Мой приступ грусти беспричинной
И бурю радости и слез.



Куда вы плывете, усталые тучи,
Над далью морскою, над ширью мирской,
Покоя не зная, с такою тоской
Дожди изливая, как слезы, рекой.
Куда вы плывете, усталые тучи?

Куда вы плывете, усталые тучи?
В вас ветра прохлада и сырость морей,
И запах платанов и осокорей,
Растущих в ущельях у наших дверей.
Куда вы плывете, усталые тучи?

Куда вы плывете, усталые тучи?
Ночами под звездами вы не одни—
Мерцаньем своим вас пронзают они,
А в дни грозовые в вас молний огни.
Куда вы плывете, усталые тучи?

Куда вы плывете, усталые тучи,
Одна за другой вереницей подряд,
Прильнув к Арарату, обняв Арарат
И грома катя надо мною раскат?..
Куда вы плывете, усталые тучи?



Зорко смотрят друг на друга скалы,
Точно перед взлетом два орла.
Между ними пропасть пролегла,
Зорко смотрят друг на друга скалы.

Чудится, вот-вот над перевалом
Я увижу мощный взмах крыла.
Зорко смотрят друг на друга скалы,
Точно перед взлетом два орла.

Пыль вашего гумна

Пыль золотая вашего гумна
Садилась на скирду соломы нашей,
Тень вашей груши, низко склонена,
Бывало, на дорожке нашей пляшет,
Колечко дыма вашего порой
Садилось на вихор упрямый мой.
Пыль золотую вашего гумна
Я различал на нашей ниве колкой,
Я мог бы даже отыскать иголку,
Что бабушкой твоей обронена.

Я снова здесь. Но не найду никак
Я места этого,—не то что дома,
Хотя вокруг как будто все знакомо,
Хоть до предела память я напряг.
А ведь, пожалуй, смог бы начертить
Подробный план: ваш дом, баштан по скату,
Ваш тополек. И вот, порвалась нить...
И камня нет, чтоб сесть и погрузить
О том, что было дорого когда-то.

Где б ты ни находилась, где б твой брат
Ни кочевал, чтоб дом отстроить отчий,
В родимый дом вернетесь вы назад!

Пусть снова дым над кровлею хлопочет,
Пусть ветерок его уносит ввысь,
Пусть он потом опустится к Аразу,
Оттуда повернет к горе Масис
И облачком растает сам не сразу.
Пусть век цветет деревня средь долин,
Пусть молодость ее годами длится,
И если должен выпасть снег седин,
Пусть он на наши головы садится!



Пришла ты в свадебном наряде,
На перстне камень, как слеза,
Слеза в твоём потухшем взгляде...
Пришла и отвела глаза.

Сказала,—не приду сюда,
Отрезаны пути возврата.—
Над бледной полосой заката
Всходила первая звезда.

С тобой простился без укора,
И скрылась ты в пыли дорог.
С тех пор встречались наши взоры
На той звезде, в лучах которой
Я стал навеки одинок.



Приоткрыл подснежник свой глазок,
Говорит он:—С добрым утром, снег!—
Плачет снег:—Я что-то занемог,
Лучше мне «прощай—скажи—навек».

Своего кормильца не забудь—
Я берег тебя и укрывал.
На, испей водицы, чтобы чуть
Подрасти,—ты слаб еще и мал.

—Позабыть тебя я не боюсь,
Сердце будет век томить тоска,—
На губах моих студенький вкус
Твоего остался молока.

Так цветок проговорил в ответ.
Смотрит, а уж снега в поле нет.



Рыбка пронеслась быстрее луча
И пощекотала ручеек.
Тот в овраг сорвался, хохоча,
Удержаться на лугу не смог.

Грохнулся о камень, зашумел,
Завертелся, поднимая муть.
Оглянулся вокруг себя, несмел,
И пустился к морю, в дальний путь.

К а к л а д ь я

**В Араратской долине бескрайней
Вновь сады стали зябью багряной,
Морем яростной желтизны.**

**И гнездо опустевшее аиста
В море том желтопенном качается,
Как ладья на гребне волны.**



Золото листьев в лесу кипело,
Дымками синела каждая пядь,
Колыбельную лесу осень пела,
Но лесу еще не хотелось спать.

Всюду поскрипыванье и шепот,
Запахи прели, всхлипы воды,
Спутались в чаще ручьи и тропы,
Тени лесные, следы, следы...

Иней тронул шапку поганки,
Мерзнет раздетый дикий миндаль.
Буря ждет, притаясь на полянке,
Знак ей подать не замедлит дать.

Тихо окликнула мать ланенка,
С мохом во рту он бежит на зов.
Тщетно охотник спешит вдогонку,
Мокрые заросли—верный кров.

Дом лесника под сутулым склоном,
Мирный потрескивает костер.

Рядом сосна молдая с кленом
Ведут нескончаемый разговор.

В лесу было эхо многоголосым,
И тайну хранила каждая пядь.
Колыбельную лесу пела осень,
Но лесу еще не хотелось спать.



Дни золотые стаей унеслись,
Холодный ветер, воя, входит в город.
Висит на клене одинокий лист,
Недавней бурей надвое распорот.

Какую тайну сирий бережет?
Что не летит он вслед другим скитальцам,
К безлистой ветке так упрямо льнет,
К ее дрожащим, ослабшим пальцам?

●

По горе Салвард с шипеньем
Извивается поток,
И воды его течение
Вдаль уходит, на восток.

Говорят, весь день до ночи
Там проводит мать моя,
Без меня скучает очень
И вздыхает у ручья.

Долго-долго смотрит в волны—
На волне слеза дрожит,
И ручей, слезами полный,
К морю синему бежит...



Была ты бутоном весенним—
Тобой наслаждался, кто мог.
Была быстроногим оленем,
Пленяющим стройностью ног...

Ты птицей была и, летая,
Гнездо хлопотливо вила,
А может, отстала от стаи
И чьей-то добычей была.

Но ты не грусти, дорогая:
Я тоже добыча твоя.
И—что мне осталось—не знаю,
Но счастлив оставшимся я!

Чужая весна

Пришлось мне встретить дни весенние
В горах, в долинах незнакомых,
Далеко от моей Армении.

Вокруг—веселое цветение
Весенних рощ, садов и пастбищ,
Как и весной в моей Армении.

У птиц такое ж оперение,
И песни так же задушевные,
Как и в горах моей Армении.

Ручьев серебряное пение...
Вода журчит и убегает,
Как родники в моей Армении.

Похоже все. Но тем не менее
Я весь, как пламенем, охвачен
Госкою по весне Армении.



Твердят мелодию, чуть звеня,
Речушки мне наизусть,
И вновь охватывает меня
Весенняя сладкая грусть.

Тростник гудит или гром гремит—
Пересказать не берусь,
Но снова, снова меня томит
Весенняя сладкая грусть.

И дождик льет как из ведра,
Но только от сна очнусь,
Как мной владеет уже с утра
Весенняя сладкая грусть.

Живительной влагой обдаст поля.
И песнею станет пусть
Росой сияющая земля,
Весенняя сладкая грусть.

Зангезур

Серо Ханзадяну

Меня зовет дождливая страна,
Где за ночь поднимается порой
Камыш озерный вровень с головой.

Меня зовет лучистая страна,
Где у рогатых выщербленных скал
Легли, как стадо, камни на привал.

Меня зовет гористая страна,
Где не понять, кто гром к тебе донес—
Гроза внизу иль рухнувший утес.

Меня зовет бездонная страна,
Где гул от сброшенных вчера камней
Сегодня долетает до ушей.

Меня зовет волшебная страна,
Где на инжир, что под горой цветет,
Глядит подснежник с облачных высот,

Меня зовет прекрасная страна,
Где лето, зиму, осень и весну
Ты видишь рядом, как семью одну.



Это радость моя плещет струйкой живой,
Если ясен и чист небосвод над тобой.

Это стон мой звучит, если тело твое
Искололи шипы, изодрало репё.

Это гнев мой рычит и рокочет, как гром,
Если тучи тебя обступают кругом.



Пойду в родные горы, к пастухам,
Искать свирель, потерянную в детстве,
Пойду по росным травам, по лугам
Искать свирель, потерянную в детстве.

Под звон ручьев, бегущих по камням,
В обнимку с ветром, с тучами в соседстве
Пойду в родные горы, к пастухам,
Искать свирель, потерянную в детстве.

Содержание

Алла Марченко. Все человек 3

Перевод Арсения Тарковского

Рассвет	15
На дальнем берегу	16
Осень в горах	17
«Темнеют горы на горах»	18
Синяя песня	19
«На склоне горном...»	20
Так жить	21
«Не дали выйти из семени...»	22
«Радуга животрепещущая..»	23
«Пойду, затеряюсь в листве неживой...»	24
Орвел	25
«Твоими глазами...»	26

Перевод Марии Петровых

Годы мои	27
«Пел зеленый ветер на лугу...»	29
После грозы	30
«Мчатся бурные реки твои по-армянски...»	31
Зеленый тополь Наири	32
Из цикла «На берегах Воротана»	33
«За старой садовой оградой...»	34
Детство	35

Перевод Наума Гребнева

Гязбел	37
«Дорога снов монах...»	38
Закат в горах	39
«Гроза хоть и прошла...»	40
«На ребрах гор—тропа...»	41
«К утесам этим...»	42
Перепела	43
Кто я и что?	44
«Мы всегда друг друга знали...»	46
«Со своим талантом безъязыким...»	47
«Теперь уж того, что было, нет...»	48
«Голову уткнув в колени...»	49
«Бывает, сердце болью изойдет...»	50
«Ты, первая любовь моя...»	51
«О, время, пожалей меня...»	52
«Куда б ни шел я...»	53
«Я помню: осени пожар...»	54
«Журчит, журчит по взгорью...»	55
«Куда ушли...»	56
Была благословеньем и проклятьем...»	57
Если б совершилось чудо	58
«Жарок твой халат на вате...»	59
«Мне мерещится иль снится...»	60
Я оставил	61
«Ветер морозный завыл...»	63
«Моя тропа была, да затерялась...»	64
Жизнь	65
Я устал	66
Я был богат	67
Жизнь не замрет	69
«Шагать мне приходилось на веку...»	70

«Нет, не зовите, не сулите рай!...»	71
Шиповник	72
Когда не пишется	74
«Мне ведомо, что истинно, что ложно...»	75
Баллада о семи всадниках	76
Родная деревня	78
Стихи о моих свойствах и спутниках	82

Перевод Аллы Марченко

«Утро...»	88
«Земля в лихорадке цветенья...»	90
«О, если некому воздать мне по заслугам...»	91
Закат	92
«Нас четверо было...»	93
«Уходят горы в небо...»	94
«Утро и солнце...»	95
«Что делать мне, мать?..»	96
Летняя ночь	97
Вол	98
«Собою был и всеми сразу...»	99
«По гребню горы пронеслась гроза...»	100
«О Лорагет, не знающий утрат...»	101
«И потом покрылся пещерный лик...»	102
«Брожу над рекою...»	103
«Был легким ты...»	104
«Последних птиц в дорогу проводила...»	105
И снова иди	106
«Задурил он...»	107
«Ушла, сломавшись, молния в скалу...»	108
«Сыну посмею ли отказать...»	109
«Разуть да в рапиву...»	111
	149

«—О не спеши...»	112
Возвращения	113
Дед	118

Перевод Олега Чухонцева

Утес	120
Четыре лета ушло	121
Птицы мои, небесные птицы	123

Перевод Бориса Пастернака

Моему Воротану	124
Воротан	125
«Стремительно летит машина...»	126
«Куда вы плаваете, усталые тучи...»	127

Перевод Татьяны Спендиаровой

«Зорко смотрят друг на друга скалы...»	128
Пыль вашего гумна	129
«Пришла ты в свадебном наряде...»	131
Приоткрыл подснежник свой глазок	132
«Рыбка пронеслась быстрее луча...»	133
Как ладья	134
«Золото листьев в лесу кипело...»	135
«Дни золотые стай унесли...»	137

Перевод О. Ивинский

«По горе Салвард...»	138
«Была ты бутонем весенним...»	139

Перевод Веры Звягинцевой

Чужая весна	140
Водопады	141

Перевод Клары Арсенезой

«Твердят мелодию...» 142

Перевод С. Виленского и Я. Серпина

Зангезур 143

Перевод Эммы Александровой

«Это радость моя...» 144

«Пойду в родные горы...» 145

АМО СААҚОВИЧ САГИЯН

ГОДЫ МОИ



Редактор **С. С. Хачатурова.**

Художник **Р. П. Нанушян.**

Худож. редактор **А. В. Гаспарян.**

Техн. редактор **В. М. Еганян**

Контрольный корректор **К. В. Мариамджанян**



Сдано в набор 9/V 1969 г. Подписано к печати 25/VI 1971 г.
Бумага мелованная 70x108¹/₃₂. Печ. 4,75 л. = 6,65 усл. печ. л.
Уч.-изд. 3,8 л.+1 вкл. Заказ 40. Тираж 5000. Цена 73 к.

Издательство „Айастан“, Ереван—9, ул. Теряна, 91.

Типография № 7 Главного управления полиграфической
промышленности Государственного комитета Совета
Министров Арм. ССР по печати, Ереван, ул. Теряна, 127.

